



*Читайте в серии*  
*«Дочки-матери.*  
**Проза Татьяны Булатовой»:**

*Мама мыла раму*

*Счастливо оставаться!*

*Дай на прощанье обещанье*

*Ох уж эта Люся*

*Бери и помни*

*Да. Нет. Не знаю*

*Три женщины*  
*одного мужчины*

*Не девушка, а крем-брюле*

Татьяна  
БУЛАТОВА

*Мама  
мыла раму*



Москва  
2015

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44  
Б90

Издание осуществлено при содействии  
литературного агента *Н.Я. Заблоцкиса*

Оформление серии *А. Старикова*

В коллаже на обложке использованы фотографии:  
© Wavebreakmedia / Depositphotos / Legion-Media;  
© Сергей Шустов / Фотобанк Лори / Legion-Media;  
denisovd / Istockphoto / Thinkstock / Gettyimages.ru

**Булатова, Татьяна.**

**Б90** Мама мыла раму / Татьяна Булатова. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 320 с. — (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой).

ISBN 978-5-699-84522-4

Антонина Самохвалова с отчаянным достоинством несет бремя сильной женщины. Она и коня остановит, и в горящую избу войдет, и раму помоет.

Но как же надоело бесконечно тереть эту самую раму. Как тяжело быть сильной. Как хочется обычного тихого счастья. Любви хочется!

Дочь Катя уже выросла, и ей тоже хочется любви. И она уверена, что материнских ошибок не повторит. Уж у нее-то точно все будет красиво и по настоящему.

Она еще не знает, что в жизни никогда не бывает как в кино. Ну и слава богу, что не знает, — ведь без надежды жить нельзя...

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

© Федорова Т.Н., 2015  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Э», 2015

ISBN 978-5-699-84522-4

*Все совпадения имен в романе случайны. Описанные события являются вымыслом автора*

**Я** люблю рисовать лошадей и собак. В лошади у меня хорошо получается голова. Гораздо лучше, чем задние ноги. С собаками примерно та же история — рисую ровно половину: морду с высунутым языком. Очень мне нравятся колли. Морды вытянутые, лисьи. И воротник вокруг, как у Шаляпина на картине. Тоже мне, дама с собачкой! В Русском музее висит. Там, в этом зале, все — с собачками.

У всех моих знакомых есть собаки или кошки. Даже у кривоногой Пашковой! Мне их нельзя. У меня астма. Ходить на ипподром мне запретила мама.

— Да ты там сдохнешь! — сказала она. — Прямо в навозе и задохнешься.

Теперь, чтобы не задохнуться, я рисую. Да, забыла. Иногда я рисую ноги в туфлях на каблуках. Хорошо получается до колена, потом — какие-то бревна. Приходится надевать на них юбку. Правда, от этого краше ноги не становятся, а мама мне говорит:

— У тебя зубы, как у акулы (в смысле — кривые), не красавица. Будешь себя обшивать — выйдешь замуж.

*Кто такого уроды замуж возьмет? Неизвестно.*

\* \* \*

— Отойди от зеркала! Кому я сказала?!

Катя Самохвалова покорно выдохнула и подошла к окну. Во дворе жили собаки. В подвале — кошки. На последних особенно жаловалась тетя Шура из соседнего подъезда, обещавшая отравить эту пакость, потому что заели блохи, даже на второй этаж запрыгивают. Катя никогда не видела живую блоху. Только в книжке. И ту подкованную. А очень хотелось. Поэтому, когда тетя Шура (Санечка, называла ее мама) прибежала к Самохваловым позвонить, девочка с неприкрытым любопытством спрашивала:

— Кусают?

— Ой, кусают, Катька! Кусают так, что хоть из дома беги!

Бегать из дома в разные стороны было любимым Шуриным занятием. Среди множества маршрутов, освоенных Санечкой, излюбленных было три: через дорогу на работу, на центральный рынок и, наконец, к Самохваловым — позвонить. Но отнюдь не всегда тетя Шура была гонима желанием пообщаться с внешним миром. Самохваловский маршрут для нее представлял особую ценность, так как хозяйка телефона Антонина Ивановна, по совместительству Катина мать, служила преподавателем русского языка как иностранного в международном военном заведении, у КПП которого толпились барышни в ожидании счастливого билета за рубеж.

— У тебя — дочь, у меня — дочь, — напоминала Санечка Антонине Самохваловой.

— Да ладно тебе! — отмахивалась Антонина.  
— Вот тебе и ладно... Не успеешь оглянуться, замуж пора отдавать.

— Ну, Санечка, это ты махнула!

— Поверь мне, уж я-то знаю... — таинственно провозглашала соседка и показывала глазами на Катьку.

— Иди, иди! — гнала дочь Антонина Ивановна. — Рано тебе еще об этом думать.

О чем, Катька пока не догадывалась. Значение сакраментальной фразы: «У тебя — дочь, у меня — дочь» — было ей совершенно непонятно. Это взрослому человеку, вошедшему в родительский период жизни, легко переводилось: «Мы с тобой одной крови: ты и я». Катя же Самохвалова воспринимала данный тезис как пароль, с которым в дом входили свои. «Пароль?» — «На горшке сидит король!» — «Заходите тогда, милости просим».

Всем милости просим, кроме ее подружек дворовых: даже кривоногую Пашкову и ту в мамин дом пускать было не велено. А какой от нее вред, от этой Пашковой?

Внизу Наташка Неведонская: шея вывернута, голова сбоку от тела качается, руки не слушаются. Во дворе ее за глаза паучихой называют. Ей — можно. Она умная. Но Катя ее не любит, потому что страшно: вся скрюченная.

— Бедный ребенок! — сокрушается мама, видя, как Наташка «ползет» к школе. — Не могли, что ли, дитя в специальную школу отдать?

— Зачем? — интересуется Катя. — Она же нормальная.

— Да какая же она нормальная? — возмущается Антонина Ивановна.

Но Неведонскую из квартиры не выгоняет, когда та к Катьке приходит, и даже спрашивает: «Как дела в школе?» А какие у нее могут быть дела, это понятно. На днях два здоровенных придурка зажимали ее в раздевалке, чтобы понять, «откуда у нее лапки растут». Но Наташку голыми руками не возьмешь — так вмазала, что мама не горюй. И вечером у Неведонских стоял стон и ор: это Наташка отбивалась от родителей, все время повторяя: «Это он сам! Са-а-м! Пе-е-ервый!» Кате казалось, что у нее пол под ногами трясется от сумасшедших Наташкиных воплей. Не выдержала, подошла к пианино и села на виниловый вертящийся стул.

— Вот-вот, — удовлетворенно отметила Антонина Ивановна, — нечего дурака валять. Занимайся, а то спасу от этих криков нет.

Катя Самохвалова подняла крышку инструмента и со всей силы стукнула ладонями по клавишам.

— Эй! Это ты чего? — возмутилась мать. — Специально, что ли?

— Ничего не специально, — буркнула Катя и крутнулась на стуле. — Я еще литру не выучила.

— Так выучи, — посоветовала Антонина.

— Не могу.

— А ты через не могу.



Катя Самохвалова с тоской посмотрела на мать и робко запротестовала:

— Не могу. Наташа кричит.

— А ты внимания не обращай.

— Не могу...

— Что с нее взять? Больная...

— Никакая она не больная. Она ДЦП.

— Это кто тебе сказал?

— Наташа.

— Ох уж эта Наташа! — посетовала Антонина Ивановна. — Поперек горла мне твоя Наташа. Надо с ее матерью поговорить.

— Зачем? — полюбопытствовала Катька.

— Не твое дело, — отрезала мать и махнула рукой. — Иди вот, литру свою учи.

Катя слезла со стула и отправилась в детскую, она же по совместительству «спальня». Там стояла большая кровать, на которой мать и дочь спали вместе с того самого момента, как умер Арсений Самохвалов — Катин отец. По недомыслию своему Антонина Самохвалова говаривала:

— Эх, Катька-Катька! Раньше здесь на твоём месте папа спал... А теперь — ты.

Девочке становилось неловко. Возникало ощущение, что заняла чужое место. А еще страшно: папа не папа, все равно покойник. А покойников Катя боялась так же сильно, как возможной материнской гибели.

— Вот умру я, — обещала Антонина, — одна останешься. Ни-ко-му не нужна!

В вечном ожидании конца Катька просыпалась посреди ночи и прислушивалась, ды-

шит ли мать. Иногда дыхание прерывалось, и тогда девочка, зажмурив глаза, тыкала в нее рукой, словно нечаянно. Антонина вздрагивала, всхрапывала, таращила глаза и по привычке приговаривала:

— Спи-спи. Давай... спи уже...

И девочка, довольная, засыпала.

«Спальня» была особым пространством в семье Самохваловых: там был Катин угол («все, как у нормальных людей — только занимайся»), шифоньер, полный добра («еще в Монголии покупала»), швейная машинка («спасительница твоя»), кровать и темная комната. Место для хождения в комнате отсутствовало. Но зато при желании, особенно если приставить к стене пустую банку и приложить к ней ухо, можно было расширить свою территорию ровно на величину аналогичной «спальни», только соседской, разумеется. Принадлежала она вездесущей тете Шуре из соседнего подъезда. Точнее, ее дочери Ириске, о судьбе которой дальновидная Санечка пыталась позаботиться уже сейчас: «У тебя — дочь, у меня — дочь».

Дружбы между девочками никак не образовывалось. Оно и понятно. Во-первых, тети-Шурина Иринка на целых аж четыре года была старше Катки. А кому охота с малявками связываться?! Во-вторых, у Ириски играла человеческая музыка: группа «Спейс», «Миллион алых роз», «Бони М», а у Самохваловых бесконечное «А-атвари... потихо-о-о-нъку кали-и-ит-ку...», ну и типа того. В-третьих,

Катька оказалась владелицей подаренных курсантами из Никарагуа косметических наборов «на вырост» («в детстве только проститутки красятся»), предусмотрительно спрятанных Антониной Ивановной в неприкосновенный секретер. Санечка трижды просила соседку продать один за «приличные» деньги, но всякий раз получала отказ, мол, не только же у тебя дочь.

— Так испортятся же! — отчаивалась тетя Шура. — Пока Катька-то вырастет.

— Не испортятся, — уверяла ее Антонина, стоявшая на страже дочерней красоты, и неважно, что будущей.

Сама Антонина наборы не жаловала, предпочитая помаду «Жизель» ядовито-сиреневого перламутра и польские тени в круглых коробочках.

Четвертая причина была самая серьезная: у соседской Иринки жил говорящий попугай и вдобавок еще и рыбки. Рыбки быстро перешли, а птица осталась и якобы называла хозяйку по имени: «Иррр-риска! Ирр-риска!»

— Слышала?

Катька старательно кивала головой, отчаянно лицемеря. Ничего, кроме слов «сика», «сволочь» и «дай», она разобрать не могла. Но от этого зависть не убывала.

И даже чуть не убила Катю Самохвалову. Перепуганная Санечка вызывала «Скорую» к побагровевшей Катьке, вытаращившей глаза на птичью клетку, и умоляла ничего не говорить маме.

А как не говорить?! Соседи донесут быстрее, чем Антонина Самохвалова вернется из своего училища. Нет, рассказать, конечно, надо, но особым образом, как о подвиге ради жизни на земле.

Рассказали, в красках расписав, как несли «раненого бойца» из одного подъезда в другой, как при этом «боец хватал ртом чистейший озонированный воздух района», как сжималось при этом доброе Санечкино сердце и как хорошо, что все хорошо закончилось. О попугае не сказали ни слова.

История про подвиг не помогла.

— Сво-о-олочь ты! — обиделась Антонина Ивановна на дочь. — У тебя астма, идиотка! Сдохнуть ведь могла из-за этого сраного попугая!

Катяка возражать не стала: уткнулась в подушку и заплакала то ли от обиды, то ли от радости, то ли от того, что чувствовала себя безмерно виноватой.

Вообще, чувство вины посещало младшую Самохвалову довольно часто: когда ложилась в постель на папино место, когда приходили гости, когда подруги жалели маму. И больше всего, когда случался приступ — вроде как нарушила субординацию и собралась снова занять чужое место, на этот раз мамино.

— Нет уж, подожди, — успокаивала ее Антонина, — сначала я сдохну, а потом уж и ты. А там, глядишь, и лекарство от астмы придумают...

Такой расклад Катюку не устраивал: ей хотелось, чтобы придумали завтра, а еще лучше

сейчас. От невыносимости мечты накатывали рыдания.

— Я буду врачом, — заявила она матери.

— Замуж сначала выйди, — посоветовала та дочери и сердито зашелестела выкройкой нового платья.

— Это ты себе? — виновато поинтересовалась Катька.

— Тебе! Мне-то зачем? — по-военному четко произнесла Антонина Самохвалова и неожиданно всхлипнула.

Услышав материнский всхлип, девочка отчаянно заревела.

Ревели в два голоса, каждая — со своей интонацией. Слезы лились обильно, Катька жмурилась, шмыгала носом, мать песенно причитала. Потом разом остановились, выдохнули и замолчали.

— Чай, что ли, ставить? — в нос протрубила Антонина.

— Ставь, — разрешила Катька.

Чаевничали на кухне за столом-книжкой, но зато с хрустальными розетками и витыми позолоченными ложками. Варенье в вазочке янтарно искрилось.

Антонина Ивановна заполнила розетку, протянула ее дочери и ласково проговорила:

— На-а-а, страшенькая моя.

«Стра-а-ашненькая», — подумала Катя и оглянулась на себя в зеркало. И, слава богу, в нем, кроме распахнутой в зал двери, ничего не было видно.

*Кто заставлял меня ее рожать? Сыну уже семнадцать стукнуло. Школу окончил. А Сеня все «роди да роди», «роди да роди». Вот и родила. Тут он и заболел. Восемь было Катерине, когда Сеня умер. И слава богу. Ведь ничего уже не понимал. Ни-че-го-шень-ки! Меня только мамой звал: «Ма-ма! Ма-ма». Катьку увидит — плачет. И все время: «Уйди. Уйди». Та обижается. А я что сделаю? Не в психушку же его сдавать. Жалко. А он как дите малое. Катя его стыдилась... Господи, чего уж теперь? Для себя я ее родила. Для себя! Пусть в старости опорой мне будет...*

— Да-а-а, Тонечка. Кто ж вот знал? Кто ж вот знал, что так получится? — причитала за поминальным столом Главная Подруга Семьи Ева Соломоновна Шенкель, закатывая глаза под насурьмленные брови.

Катя перевела глаза на мать. Та оправила на груди платье, взбила прическу, лукаво улыбнулась Главной Подруге и строго посмотрела на дочь — Катя съежилась и уткнулась в чашку.

— Пьешь?

Девочка виновато закивала головкой-луковкой.

— Вот и пей.

Луковка снова кивнула.

— Пей. И иди музыкой занимайся. Вообще обленилась. За целый день к инструменту не подошла.

Катя залилась краской и отодвинула чашку в сторону.

— Разольешь! — прикрикнула Антонина, после чего девочка старательно поправила чашку и вынула из нее ложку.

— Иди занимайся. Уроки сделала?

Катя кивнула.

— Форму погладила?

Еще кивок.

— Труссы? Чулки?

— Ма-а-ама... — смущенно пискнула дочь.

— Что «ма-а-ма»? — с искренним облегчением разразилась Антонина Ивановна. — Что-о-о «ма-а-а-ма»?

— Ничего, — ответила Катя и встала со стула.

— Ты... на мать... так... не смотри! — старательно, как на приеме у логопеда, выговаривая все слоги, отчеканила Антонина и взяла паузу. — И не грызайся!

Катя, как стойкий оловянный солдатик, повернулась на одной ноге и понуро направилась в комнату, в присутствии гостей почтительно называвшуюся «детская».

— И не дерзи матери! — прикрикнула, распаляясь, старшая Самохвалова в луковичный затылок. — Видала, Ева?!

Ева Соломоновна старательно сложила блестящие после жирной самохваловской еды губы и укоризненно помотала головой. Если по совести, то ничего из ряда вон выходящего в Катином поведении за столом она не заметила: ни вызова, ни дерзости. Мало того, ее большое еврейское сердце бухало в груди